

О русской глубинке замолвила слово

Если ты, уважаемый читатель, взял в руки эту книгу, то ты непременно дочитаешь её до конца. В этом я уверен! Не отложишь на половине, не оставишь на потом, а прочитаешь, даже отложив все дела на потом. Потому что эта книга расскажет тебе о тебе самом и твоих близких.

Частенько говорят, что все мы вышли из шинели. Кто-то говорит про гоголевскую шинель, кто-то про сталинскую. А я уверен: все мы вышли из старомодного ветхого бабушкиного шушуна, воспетого Есениным. Почти каждый из нас — урождённый сельчанин. Не во втором, так в третьем, четвёртом, пятом поколении. Этот бабушкин шушун стал чем-то вроде обетованной земли нашего детства. И хотя мне по причине сиротства не довелось ощутить, как заботливо и с любовью кутает тебя бабушка в свою одежду перед тем как вывести на

морозную улицу прогуляться перед сном, читая эту книгу, я словно наяву себе это представил. За что очень благодарен автору книги — члену Союза писателей России, моей забайкальской землячке Елене Чубенко.

Когда читаю рассказы Елены Чубенко о детстве, словно сам становлюсь тем ребёнком, который сидит с бабушкой близ натопленной русской печи. Прямо как в рассказе «На море-окияне», где печка названа спасительницей. Печки-матушки да наши бабушки веками спасают нас на окаянных пронизывающих российских ветрах. Спасают не только от телесного холода, голода, недугов, но и врачуют души наши под звуки сказываемой бабушкой сказки, когда мы засыпаем на печи...

И хотя по возрасту я Елене Чубенко во внуки и сыновья уж никак не гожусь, но как автор в отношении меня, читателя этой книги, она выступает этой самой спасительницей и утешительницей, согревающей душу своими рассказами.

Согреваешься сердцем, молодеешь душой, светло грустишь о том русском укладе, что не вернуть никогда нам, польстившимся на цивилизацию и прогресс. Такие писатели, как Елена Чубенко, сегодня особенно необходимы русскому человеку, потому что таких писателей мало. Мало способных сохранить и увековечить гармонию и красоту русского уклада, и русской речи.

Не сказать, что этот наш русский уклад идеален. Никак не сказать, что живут-поживают герои этой книги в тихой заводи. Страсти кипят в судьбах героев этой книги, в каждой судьбе — по-своему. Пасторальность рассказа о внучке, что гостит у бабушки и греется на русской печке, неожиданно оттеняет повесть «Мамина Вера», по которой вообще можно снять фильм про русских цыган и русскую особенность приручать даже блуждающие народы. Русский уклад в «Маминной Вере» не просто соприкасается с укладом цыганского кочевья, но как бы приращивает и приручает к русскому миру непоседливый цыганский мир.

Чем приручает? Любовью и состраданием. Только этим и можно, вспоминая Тютчева, срастить и спаять такой разный мир огромной России. И вот уже молодая цыганка Вера, которая познакомилась с русской старушкой в больнице, куда обе угодили вовсе не при лучших жизненных обстоятельствах, искренне рыдает у неё на плече. Рыдает и горюет по умершему мужу этой старушки, ставшей ей почти матерью. А муж молодой цыганки в один из визитов своей кочевой жизни привозит этой старушке подарки.

Нет в этой книге посторонних и наблюдателей. Русская дочь старушки, от лица которой ведётся повествование и в образе которой явно проглядывает автобиографичность, помогает, как сострадательный неравнодушный человек, то одной, то другой цыганке. То паспорт выправить, ведь негоже человеку, даже кочевому, без паспорта. То от ненавистного замужества с нелюбимым спасти...

А русская бабушка настолько спустя годы проникается к цыганским странникам, что каждый раз, завидев на улице табор, бросается к окну: «Уж не наши ли цыгане приехали?» В этой книге все — наши. Разные, но наши! Даже дикорастущие при родителях-алкоголиках дети — не чужие сельской общине. Сердобольный народ помогает им чем может...

О неизбежных трагических жизненных ситуациях своих героев Елена Чубенко рассказывает нам светло, сочувственно и сострадательно. И потому после чтения столь реалистических её рассказов, где явно проглядывает документальная основа, не остаётся на душе безыходности. Загадка — как автору этой книги при её неженской профессии удалось сохранить в себе веру в людей! Ну и уж раз речь зашла о профессии автора книги...

...С Еленой Чубенко мы познакомимся на праздновании знаменательного для Сибири и всей России юбилея. Пятидесятилетие минуло с тех пор, как отшумел в моей родной Чите литературный праздник «Забайкальская осень». Полвека пронеслось со времени состоявшегося тогда же знаменитого Читинского семинара молодых писателей, открывшего новое и даже сверхновое имя в литературе — Валентин Распутин. А ведь на момент участия в Читинском семинаре и момент нашего знакомства у будущего русского классика Распутина даже книги ещё не было! А теперь вот пишем мы книги о нём...

На юбилейных торжествах мы, гости юбилейной «Забайкальской осени», не только перед читателями активно представлялись. Мы ещё участвовали в работе творческих семинаров, где, как и полвека назад, обсуждались произведения авторов. Из тридцати человек семинара прозы, в который я попал в качестве одного из руководителей, я особо выделил для себя прозу Елены Чубенко. Впрочем, другие руководители семинара тоже отметили её яркий и самобытный русский язык, прекрасно украшенный сибирским старообрядческим наречием. Такой язык стал редкостью в современной русской литературе. Творчество Елены Чубенко произвело на меня немалое впечатление. Потому я не удивился, что вскоре Елена Ивановна была принята в Союз писателей России.

Елена Ивановна не просто юрист. Закончив юридический факультет Иркутского государственного университета, она многие годы работала следователем, потом судьёй. По роду своей работы видела немало людских непростых судеб, видела людей в тяжких жизненных ситуациях, когда особенно ярко раскрывается характер человека. И уж конечно, и судья, и следователь обязаны быть психологами, знатоками человеческого характера. Иначе как? Выйдя на пенсию, Елена Ивановна начала сотрудничать с редакцией районной газеты Улётовского района Забайкальского края. И вот вы держите в руках её новую книгу...

Благодаря этой книге вы сможете войти в мир настоящей глубинной России. Эта книга, словно машина времени, переносит нас на десятилетия назад. Несмотря на первородство языковой старообрядческой среды, в которой Елена Ивановна выросла, проза её звучит ничуть не архаично, а очень даже современно. Читаешь и ясно осознаешь — не потеряли мы Россию. Россия живёт в наших душах, потому наше сердце так живо откликается на то, что пишет автор этой книги.

С особым интересом я всегда читаю о том, что и как пишут поэты и прозаики о своём детстве. Как писатель, писавший в своё время для детей, понимаю, все мы всегда остаемся детьми. Неважно, сколько нам лет. Важны лишь те сказки, что мы слушали в детстве. И те выводы, которые мы из них сделали, ведь сказка — ложь, да в ней намёк...

Частенько в произведениях Елены Чубенко главными персонажами бывают дети. Порой и с трагической судьбой — сразу вспоминается выросшая в непутёвой семье алкоголиков Катя, «Богова невеста», сирота при живых родителях, но не сирота при всех тех людях, которые её окружают и каждый по-своему о Кате заботится... Автор этой книги хранит способность смотреть на мир детскими глазами — чистыми и не тронутыми горечью разочарования в людях. Этот взгляд соединён с чистотой и мудростью. Оттого и говорят в народе, мол, устами ребёнка глаголет истина. Оттого и веришь Елене Чубенко и её персонажам как своим, как родным.

Тема сиротства в России — тема особая. У нас сиротами становятся не только в результате войны с внешними, но и с внутренними врагами. А врагов не

счесть. Тут и никудышнее управление страной, и отчаяние обманутого в очередной раз народа, вытекающее в пьянство и поножовщину...

И хотя у самой Елены Ивановны крепкая семья — муж, сын, дочь, тема сиротства нашего народа, наших детей очень сильно звучит в этой книге. Но ещё непобедимее звучит тема веры в русского человека. Веры в то, что не безродные сироты мы в этом мире, а наследники всех наших славных предков. И широта души русской вместит не только боль, но и любовь, заботу об осиротевших детях. Да разве только о детях, если по селу ходит осиротелая лошадка, о которой каждый в меру сил считает своим долгом заботиться. Зовут лошадку Сиротка. Кто знает, может эта Сиротка — наша русская глубинка, которая с такой художественной силой запечатлена в этой книге? И которую не хотят ещё более сиротить сельчане, потому и вопреки всему продолжают жить на земле своих предков.

Эдуард Анашкин

Я ждал тебя, Мотя...

Когда тебе лет за семьдесят, и две трети из этого, а то и больше, ты месила ногами в литых сапогах навоз на скотных дворах фермы, то уж чем-чем, а статью да здоровьишком не похвастаешься.

Вот и Матрёна Николаевна из этих, «ферменных». В сенцах есть уголок, где ещё висят пара халатов-спецовок и лоснящаяся на животе фуфайка. Если прижаться к ним в потёмках носом, то ещё можно уловить запах силоса. Тот ещё продукт консервации! Бывало, раз на пять-семь платки простираешь, занесёшь их с мороза домой, ломкие и льдистые, оттаять да досушить, а они испустят на радостях силосный дух на всю избу...

И хоть видно в окошко, что на месте фермы теперь пустырь, только старая хребтина от склада ещё маячит, обозначая в крапивных зарослях бывший колхозный участок, фуфайка в сенцах нет-нет да напомнит запашком о ранешнем...

А уж артриты, да кто ещё там мудрёный, что накрепко прицепились к рукам, к ногам да к коленкам, те и дня не дадут позабыть приснопамятные «три тысячи кэгэ надоев от каждой коровы», будь они неладны.

Поглядывая на занемогшего деда, Матрёна достаёт из посудника старую жестяную банку из-под чая и вытаскивает оттуда документы.

— Сможешь один завтра без меня-то? — больше для успокоения собственной совести спрашивает у деда.

Тот только вздыхает. Отёчной пятернёй чешет когда-то знатное пузцо.

— А чо нам теперь мочь-то... В уборную пойдёшь. Вроде гонит. Придёшь туды, думаешь — чо пришёл?.. От жизнь! Молодой, горячий. С вечера в штаны надую, утром — сухой, — одышливо балагурит больше для Матрёны, чтоб со спокойной душой ехала из дому.

Понимает, что день без её ворчания, терпеливых подношений таблеток по ча-сам, чаеваний за столом, куда он пока в состоянии подходить, покажется длинным. А Матрёна, прицепив расшатанные оглобли старых очков к ушам, выискивает паспорт, справки и ещё какие-то важные бумажки, без которых врач нынче и глядеть не станет.

Собрав весь свой архив в пакетик, для верности перевязала его шнуровой резинкой и положила в ещё один. Туда же поставила поллитрочку сметаны, и в другой пакетик — вчерашних тарочек с черёмухой. Зайдя в спальню, наказывает:

— Помногу не лежи, ходи помаленьку. А то опять отечёшь, как колотушка, никакой фуросемид не поможет. Чай варить будешь, дак про чайник не забудь.

— Што я, дурак уж совсем...

— Да обои не умные... Я вон позавчера не долила, да включила. Ладно, сразу вспомнила! Каво теперь обижаться, раз уж чудные на голову стали. На двор-то пойдёшь, дак кухвайку одевай, ты сырой да потный весь, сразу же просквозит. Хиусок холодный. Руки сразу терпнут, — продолжает она поучать старика, проворно подсобириывая платье, кофту понарядней, и доставая из шифоньера почти ношенную стёганую куртку.

По-хорошему бы и ехать никуда не надо... Голова, пожалуй, полжизни проболела, не до лечения было. Понятно дело, ветром продувало. Дорога к ферме через кукурузное поле, а он там гулял, ветер-то, только завихренья ходили! На ферме до поту наломаешь хребтину, домой скорей. Опять ветер в затылок, перебирать влажные завитки, голову студить. Это себе Матрёна такой диагноз выставила. Может, и другая причина, да кто ж её искал...

А тут новая хворь приключилась, у стариков же почти каждое утро новая хворь. Как кончился список, считай, помирать можно. Заболели вены на ногах, будто тянут невидимые электрики жилушки по ногам в разные углы, места найти невозможно, а под коленкой вовсе вырос бугор с ладошку, брусничного цвета.

Утренний автобус в восемь уж подсобрал редких пассажиров — кого в «безработицу», кого по врачам, и Матрёна, зажав между коленок свой пакет, досыпала у стылого окошка утренний сон. Снилось ей, что она проспала на дойку. Бегаёт по дому, собираясь. Иван, ещё молодой и крепкий, уже надёрнул свои вещи — пиджак, кепку. И два раза уж возвращался от машины — поторопить её. Покрикивает. А она бы рада, да рука как будто отнялась, не даёт возможности одеть фуфайку. За окном снова засигналила доярочья машина, и она проснулась. Оторопело огляделась на пассажиров, тоже нехотя просыпавшихся перед райцентром. Дорогу переходили унылые утренние коровёнки, которых нелёгкая гнала по весенней голой степи, с которой только сошёл снег. Автобусник раздражённо засигналил второй раз, и Матрёна окончательно проснулась, растирая одеревеневшую во сне, видимо, от долгого сидения руку.

Через три часа Матрёна Николаевна уже посиживала у старой подружки, которая укладывала из деревни в райцентр к внукам. Сидя за столом, принаравливалась есть левой рукой:

— Правая-то как отерпла в автобусе, и что-то в ей заклинило, — жаловалась она подружке.

— Ты б зараз показала хирургу, раз с венами обратилась!

— Шибко я им нужна! Думала, можа, схлопочу инвалидность. Всё какую таблетку задаром дадут. Рассказываю ему, жалуясь, он пишет и пишет, головы не подымая от гумажек. Мои все перебрал, свои пишет. Потом подаёт гумажку — вот, мол, написал вам, какая мазь, два раза в день мажьте. А я осердилась, мужик хворый день дома один лежит, а он меня даже не потрогал! Мазь-то я и без него мажу. Говорю, вы хоть у меня под коленкой-то пошарьте!

Обе старых телятницы расхохотались.

— Погоди-ка, — Анна бросила улыбаться. — А ты правой рукой вообще не можешь ись?

— Нет. Я ж тебе говорю. Отерпла в автобусе.

— А чо у тебя шти из рота проливаются?

— Да тороплюсь, они поди и льются, душа уж домой вся едет, к Ваньке, а я все ещё тут.

— Погоди, погоди... Однако тебя паларизовало! У моего так же рот покривило и рука неладная была.

На такси Матрёна снова добралась до врачей. По совету подружки сразу заявила, что у нее парализация, и загремела на пару недель в терапию.

Просилась домой за халатом и тапками, чтоб деду наказы сделать да няньку ему найти, да куда там — сразу в коридоре завалили на носилки. Лежала, очуманевшая от капельниц, и переживала за деда. Хотела было сходить на телефон — прирявкнули, чтоб не вставала.

К старику в деревню приехала внучка, сердито погромыхивала ведрами и чайниками, злясь на неспешный хворый мир и тоскуя о стремительной круговерти своей здоровой девятнадцатилетней жизни. И хоть зла с её стороны особо не было, дед чутьём понимал свою ненужность. Интерес к жизни потерял и всё реже стремился поймать глазами за окном воробушков, что прилетали каждое утро на черёмушную ветку.

Казалось, что без Матрёны воробьи стали не весёлые, а нахохленные, злые, ссорились между собой. Небо как назло было серым, непроглядным и никак не могло разродиться ни снежком, ни солнечными лучами. Внучка, приехав ухаживать за ним, коротко бросила: «Положили бабу в больницу. Парализованная она, хоть бы отошла!» От этой ломкой пугающей фразы стало Ивану ещё хуже. Ни вставать, ни пить таблетки не хотелось. Смысла лежать тут, ожидая, когда на соседнюю кровать привезут Матрёну, не видел. Парализованные в деревне были, повидал за свою жизнь. Ни рукой, ни ногой шевельнуть толком не могут, старой колодой повдоль койки лежат. Представить такой свою Матрёну не мог. Жмурился зло, пытаясь отогнать такие мысли, смахивал едучие слёзы, которые то и дело скатывались в овражек возле щёк.

— Дён двенадцать, поди, будут лечить? — спросил однажды внучку, загибая седьмой листок на числиннике.

— Не знаю, — коротко буркнула она, мусоля пальцем по сотовому телефону.

На исходе второй недели Матрёна приехала домой — похудевшая, растерянная. Издалека заглядывала на окна, на герани за стеклом, с множеством пожелтевших листочков и осыпающимся цветом. Хоть и дорога от остановки до дома короткая, а ноги едва донесли, тяжело с непривычки, после двух недель лежания на больничной кровати.

Распахнув двери, глянула в передний угол, на чёрную доску иконы, лика на которой давно уж было не разобрать.

— Слава тебе, Господи, — и бросила на пол пакет с бумажными причиндалами.

— Иван, живой тут? — и тихонько прошла за печку к кровати.

Стаявший, как свечка, муж улыбнулся слабенько.

— Дай-ка скорей руку... Я ждал тебя, Мотя...

Присев на кровать, Матрёна взяла исхудавшую руку, прохладную, будто не она, а он шёл по стылому огороду к дому.

— Ты чо это, мой бравенький, чо это! Холодный-то такой... — расплакалась и, взяв мужевы ладони в свои, стала торопливо растирать и согревать их своим дыханием. — Потерпи! Щас я печку ладом натоплю, чаю с тобой напьёмся. Стоско-

вალაсть я по нашему чаю, несладкий он там, в больнице, — торопилась высказать она сокровенное в мужевы руки,

— Думала, не дождусь, покуль оттуда выпустят, да с автобуса бегом к тебе...

— Ходишь сама?! Слава тебе Господи! А я думал, не дождусь. Не хворай так больше... — едва слышно сказал он и, последний раз погладив жену по ладошкам, улыбнулся. Слезинка покатилаь в неопрятную серую щетину и сгинула там...

На море-окияне

Новогодняя сказка-быль

Зима, упав нынче добрым снегом к началу декабря, выдалась мягкая, безветренная и со смешным, по нашим меркам, морозом. Всего под двадцатник. Иду потемну домой и вдруг под скрип унтов возвращаюсь в декабрьские вечера моего детства, которые были хоть и лютые по морозам, но такие добрые...

Вечер. Валяюсь на кровати, прижавшись боком к печке-спасительнице. Дом у нас вечно холодный, потому что огромный, переделанный из старого клуба. Пока печка топится — тепло. Недаром зимой в самые лютые морозы заносили «буржуйку». Ревматически изогнутое колено её трубы запускали в дымоход отогреться, и печка шумно гудела, пожирая листвяк, опасно пламеня щеками И первое слово «жижа» (горячо) было именно об этой зимней спасительнице.

Лежу у печи, полируя её спиной. Листаю очередное сокровище из библиотеки, к которым прилипла лет с семи. Мама дверь на крючок не закрывает: «Поди, бабушка придёт» И точно, ближе к восьми, а то и девяти вечера приходит моя бабулька. Шаль в куржаке, брови в инее.

«Ох, и стууужа!» — выдыхает. Мороз, тискавший бабушку всю дорогу, обесиленно упал на пол клубком пара и потерялся в углах дома. Бабушка, сбросив верхонки у порога, сразу садится к печке спиной. Мама, уставшая и ещё толком не согревшаяся после работы, вздыхает:

— Охота тебе идти по морозу!

— Да одной неохота ночевать, — виноватится она. — Думаю, можа, ночлежника своёва сомушшу... — бабушка смотрит в мою сторону, и я запоздало пытаюсь принять сонный вид.

Мама, взглянув на меня, тут же «сдаёт»:

— Не спит, токо и знат шуршать книжкой! Подсобирывайся пока, — командует мне мама. — Мы с бабушкой чай покуда попьём.

Мама наливает чай, пододвигается к столу сама, и бабушка присоединяется, нехотя отглипнув от печкиного бока. Попив накоротке чаю и обговорив домашние новости, бабушка начинает на меня поглядывать — я ведь могу сыграть смертельную уставшую и засыпающую внучку.

— Пойде-ё-ё-ём, у меня тёпленько, не то што у вас, и молоко топлёное, с пенками...

— На улице стужа, баб! — ломаюсь я, хотя коричневые пенки — весомый аргумент, против которого я точно не устою.

— А я ж не одна, я с пальтом!

Она действительно вошла в дом с пальто, накинутом поверх фуфайки. Сейчас оно, безвольно раскинув рукава, блаженно греется на спинке стула у печи.

Нехотя начинаю собираться, глядя на маму, которой и меня жалко, и бабушку, тащившуюся за мной по холоду. Мало-помалу принимаю своё обычное состояние (которое бабушка характеризует «соловей в попе, петь не поёт, и сидеть не даёт»). За пять минут натянув на себя всякие «теплушки», подхожу к бабушке. Та одевает поверх моего пальтеца своё пальто. О-о-о! Это не пальто, а сказка. Оно длинное, до пола, из чёрного драпа, на вате. Не на вшивеньком продуваемом ватине, а на вате. Лет этому пальто, наверное, двадцать, а то и тридцать. А венчает эту цитадель тепла воротник. Не крошечный лоскуток из «чебурашки», как в моём пальто, а массивный Воротник, прикрывающий и плечи, и часть спины. Он из котика, если верить бабушке. Мне жутко жаль этого «котика». Наверное, это не котик, а котяра, судя по размерам. Но он так ласково льнёт к щекам и подбородку, и не колет, в отличие от маминой шали, которую она называет «под вид пуховой». Обожаю этого Котика! Пока идёт к бабушке, он даже не успевает нахолодиться от мороза и просто ластится к лицу, погреться моим паром изо рта. Сверху моего тёплого платка меня ещё и завязали и перепоясали маминой шалью.

Мы выкатываемся из ворот, как два колобка. Тени от фонаря причудливо нас растят — сначала до обычного человеческого роста, а потом и вовсе в великанов, и мороз становится не таким страшным. Хотя он такой, что провода жалобно воют на столбах какую-то свою нескончаемую песню. Снег скрипит и скрипит под валенками. Я иду как в тёплом шалаше, придавленная пальто. Со стороны вижу, что бабушке холодно.

— Баб, ты не замёрзнешь без пальта?

— Нее, доча, у меня кухвайка тёплая и шаль! — как можно бодрей отвечает бабушка и почаще семенит ногами. Я тоже бодрей начинаю перебирать ногами в своём шалаше. Она, чтобы отвлечь меня от лютой стужи, говорит:

— Щас бы шли-шли — раз! и кукшин нашли! С золотом! Чо бы мы с ём сделали?

— Купили бы шоколадок!

— Не-е, доча, мы б уехали туда, где тепло! Там всё время трава растёт. Косить её будем!

— И заправдешную пуховую шаль маме, чтоб ей не холодно было на работу ходить!

Продолжая транжирить свалившееся на нас богатство, доходим до бабушкиного дома, прикрывшего уже глаза окон ставнями. Дом её шестой по счету от нашего, но эта зимняя дорога, попутная Млечному Пути, откуда нам подмигивали озьябшие звёзды, казалась мне такой длинной!

Кое-как дотаскив на себе это пудовое пальто, я вваливалась в дом. Холодным стожком стояла у порога, пока бабушка, включив свет, не начинала меня распаковывать. Расстегнув, развязав, раскутав, усаживала на кровать, и дальше я уже сама сдёргивала с себя свои одёжки.

У бабы куда теплей, чем у нас! Домик махонький, но тёплый. По пути к столу бабушка задвигает вьюшку в печке — протопилась уже, торкает вилку чайника в розетку. Перед сном мы выпиваем ещё по кружке чая с топлёным молоком, до которого я с малолетства охотница из-за шоколадно-коричневых пенек. Нагло выловив пенку, съедаю её, запив чаем. А потом — на печку! Ставни закрывают домик от порывов ветра и назойливого гудения проводов, и печка — самое то после нашей прогулки! Раз уж бабушка привела, то, значит, просто обязана разрешить мне там спать. На чувал кочуют и мои валенки — прогревать промёрзшие подошвы и смотреть тёплые сны...

А бабушка рада-радѣхонька «ночлежнику». Подставив табуретку, потушив свет, кричит и гнездится рядышком. Вот он, этот момент, за который можно простить и 40 градусов мороза, и даже полуночное шатание по улице! (Представляю сейчас, как было больно её бокам на жѣстких кирпичках!)

Дедова шуба просто топит в запахах зимы, дров, дымка. От начавшихся прогреваться валенок всю уже несѣт прелым духом растаявшего снега и шерсти. Сковородки, засунутые в нишу над плитой, добавляют шкварочный дух, от которого скорей хочется утра с горячими блинами.

Я, отдышавшись от запахов, начинаю канючить:

— Баб, расскажи сказку!

— Ой, доча, да я пристала.

— Но хоть маленечко, ба-а-а-б!

Бабушка сдаѣтся и начинает, уютно придвинув меня к себе: «На море-окияне, на острове Буяне. Не на небе, на земле, жил старик в одном селе. Было у него три сына. Старший умный был... детина... средний...» — Дыхание бабушки успокаивается, а потом и вовсе теряется в завитках шубы.

«Баб! Чо дальше-то?» — терблю я её за плечо.

Встрепенувшись, бабушка заводит снова да ладом: «На море-окияне, на острове Буяне, не на небе, на земле... жил старик в одном селе... Было у него три сына... Старший умный был...»

Дальше третьего сына мы с ней не уходили, и обе счастливо засыпали. По ночи уже бабушка уходила от меня на свою кровать дать отдых нагретым косточкам.

Домой, к маме

Выходной! С первой же утренней попуткой тороплюсь в свою родную деревушку, что притулилась на плѣсе Ингоды. Глазами впереди машины — так охота скорей домой! Вот уже и вербочки у поворота махают своими юбками на июльском ветерке. Ещѣ один поворот — и вот он, мамин домик, с лучистыми стѣклами окон в черѣмушных ресницах!

— Ой, глянь-ка, приехала! Чо по молчанке-то? Брякнула бы с вечера, я бы квашню поставила, хлеба свежего спекла да каких-нибудь тарочек... Ставь чайник, вари чай, щас ись будем. Ташши с сенцев калач либо колобашку. Там, на столе, под рушником лежит свежий, Нюра принесла... Вискочь за луком, огурец в тине поишши, да аккуратней, не сломай! Они нынче хлипкие, не дожидаться никак! Редиска там уж выросла вторая, первая-то чо-то в дудку ушла, видно, холодно ей было. Щас... Щас тюрю сделаем, ты ж любишь... У меня сыворотка свежая есь.

От беда, вечно второпях, не спросясь, не сказясь... А ты чо это одела, это што за штаны? Жинцы? Пошто старые-то, чо люди скажут? Как новые? Ты их когда купила? Так с нова и с дырками? Скоко стоят? Скока-скока?

Ой, нету у вас ума! И што, што мериканские? Всучили вам ношенные штаны, а вы и рады! А они коляные, не приведи Господь! На банный угол скроены!

Ешь давай лучче. Я тебе дам, не буду... Нашла об чём говорить — фигура! Дурь каку-то придумали! Вон к Катьке Анька приехала — едва в ворота входит — вот это хвигура! Обратно поехала, села в «Жигули», они чуть боком не стали. Бравая стала Анька, чо и говорить... Токо голову-то зря покрасила... Страмота!

Взяла да выкрасила их в сивый свет! Но есь ум или нету? Глазы намазала, и так черная, как головѣшка, да ишшо раскрасилась...

Вон кака молоденька, а волосси уж сивые! Не успеют оне поседеть. Спробуй токо, спорти голову, я с тобой чикатца не стану, космы-то расчешу! Вы ж когда родитесь, Бог-то зазря што ли на вас глядит: кому чо личит, тому и дась — кому беленьки волоски, кому череньки, кому рыжи... А вы берётесь да ломаете! Паря, природой всё умно предусмотрено — лучше своёво свету ничо не придумаешь!

Да расстегни ты пуговку-то! Этак и приломиться можно — так брюхо втянуть! ...Конешно, куды тебе ись, он же к спине у тебя прилип, желудок-то! Ешь, да сымай эту дерюгу! Ой, чижолые, коляные — как их можно носить! Подай-ка вон там в передней избы, платте моё... Да не етот, а вон тот, светастый! Во... По Галиному намёту сшила, погляди, как рукав ловко! Куды вашим жинцам тягатца с моим платтем!

...Щас ночовку занесём с казенки, муки насеем, а завтра квашню творить будем. Хочь покормлю тебя два дня. С чем пироги сладим — с капустой или с морковой?

Сепаратор складывай, да молоко щас отобьём, штоб сливок свеженький был... А то завтра с квашнёй свяжесся, и не до отбиванья будет...

...Вы почо мне таку клеянку гадкую купили — с бухарашками. Ись сяду, погляжу — оне кругом ползают. Аж залихотит... На капусте тумаром сяки разны, да ишо на столе! Дык придумают же таку гадось... Были раньше клеянки в клеточку — самы бравы для кухни — не маркие и ноские. А эти с каково-то гомна сделаны — на второй день уши вверх скрутютца, ни вида, ни полвида... У ей же снизу не товар, а кака-то промокашка ранешна ...

...Вы вчера глядели телевизор-то? Да про этих, про фараонов рассказывали. Поздно шибко, но мы доглядели с дедом. Дык, до чо поганый люд! Чо их копать? Каво там искать? Вон кака хворь там зарытая — нет, лезут туды, как дурные! Чо ими трясти — мёртвый человек! А им никакой жизни от людей нету! А ишо каково-то люду там набальзамировали, дивно, восемьдесят тыщ! Хоронить нельзя было — речка их подымала, и из их в мумии делали. Дык, чо удумали — костную муку с их делать! Ето рази мыслимо! И што, што оне старинные — люди же, рази можно их на муку...

...Избу ж как-то надо собиратца мыть. Не придумашь, как насмелитца. Раньше за день выбелишь и кухню, и переднюю. И шторы к вечеру повесишь, штобы окошки пустые, как у переселенцев, не были. И в пять на дойку убежишь...

А щас — горе одно. Посудник с бухветом прибрала — и затрясло, чай надо с конхветкой. До беленки ишо и дело не дошло, а уж хвораю. Беда...

...Ты мой пока посуду, да ладом. Я чо-то пристану с этим огородом, да со скотом, как собака, ни до чего! Кажинная шшепка с ног роняет... Возмёсса за посуду, она за тебя в три чёрта берётца... Пашто-то же в руках силы никакой не стало, всё валитца... Да потише ты летай, опять чо-нибудь расколотишь. Ой, чудная же ты! Куды ты вечно торописся, как на пожар! Ты ж вот как возмёсса в стенке мыть посуду, сразу же расколотишь кружку али бы рюмку... Да ишо самую бравую! Што ты у меня за косорукая такая... Домыла? Во, а я уж и муки насеяла... Падай, поспи...

И я, переодетая уже в цветастое широкое мамино платье, падаю на кровать и пропадаю в исцеляющий ото всего сон на родной койке.

Благодать

В душе растёт паника и тревога. Дым из-за сопок. Весенние ещё пожары перерастают в летние. Всепроникающая пыль. Земля в огороде, как пепел. То ли садить всё, то ли махнуть рукой.

И вдруг — радость. Гроза! Тучи! И вот уже первые капельки дождя робко по металлической крыше «Тук-тук-тук?»

— «Да! Входи!!!»

Скорей с божницы взять икону и на улицу — мыть распятие под первыми каплями, как бабушка учила. Торопливо шепчу всё, что знаю, скорей, скорей, пока редкие капли не иссякли, лихорадочно договариваюсь с Богом:

«Дай маленько хоть дождика земле, спаси, Господи, люди твоя!» — Торопливо произношу полузабытые бабушкины молитвы, растирая ладошками потемневший крест.

А дождик, сначала робкий и застенчивый, набирает мощи. В паре с громом, молодежато громыхающим по металлическим скатам деревянных крыш, набрал силушку да как да-а-а-ал!

Вода льётся с небес радостно, буйно, падая в оголодавшую без дождей землю. Почти мгновенно огород мокнет, покрывается мелкими лужицами, в которые летят новые и новые уже не капли, а струи дождя. И земля, радуясь каждой травинкой, каждым листком, встречает эту дождевую симфонию аплодисментами, вскидывая вверх крошечные мокрые ладошки в каждой лужице. Пьёт-пьёт земелька водицу, улыбаясь мокрыми листьями малины, кабачков, которые иногда лишь уворачиваются от хлётких струй, а больше-то счастливо умывают свои зелёные лица.

Стою у окна на веранде, глядя, как струи дождя расчерчивают весь огород в косую линейку. А молнии расписываются сверху это небесной тетрадки. Вижу пузырьки воды в лужах — верный признак того, что дождь надолго. Хочется от восторга кричать. Вспоминаю, что вообще-то уже бабка, и просто улыбаюсь, прижавшись носом к стеклу.

А наутро иду по привычной тропе в степь, где хожу всю весну, с первых солнечных тёплых дней.

А степь-то тоже, как человек, радуется. Лютики маленькими солнышками счастливо тянутся к большому родственнику на небе. Подснежники, вылезшие в самую жару, так и не набравшие толком росту, давно отцвели. Украшены теперь не знаменитой сиреневой вергилькой, а седым пучком волос. Радостно кивают почтенной сединой, благославляя на рост каждую травинку, что дождалась этой благодати. Пырей торопливо тянется вверх, с начала июня даже расти не особо пытался, скручиваясь в колючий гвоздик от сухости, а теперь вот прикрывает прошлогоднюю ветошь — и степь уже не узнать. Цветущая, пружинящая под ногами, дурманит своими степными ароматами!

Жаворонок торжественно транслирует с небес симфонию вчерашнего дождя, томительно и щемяще выводя каждую нотку, купаясь во всей этой неоглядной синеве.

И кажется, только тут начинаешь понимать, что такое благодать и как остро хочется в ней жить...

Придумал тоже — «ЛЮБОВЬ»

— Дед, а дед! Ты вставать будешь или нет? — поза и интонация у бабы Кати, как у сержанта-сверхсрочника.

Кто духом послабей, и дрогнул бы. А дед бровью не повёл, пристально разглядывая заупрямившийся ремешок от часов: какого-то рожна сегодня вредничал, никак не попадая в свои скрепочки. Насупонив ремешок на запястье, дед поворотился и сел в кровати поосновательней. Сетка её провисла почти до пола.

Насобирав из «джентльменского набора» четыре таблетки, баба Катя бережно несёт их в одной ладони. А в другой руке — стакан с водой.

— Да я же сёдни пил, — вяло начинает дед, но старушка обрывает:

— Каво ты врёшь! Пил он! Я уж курей накормила и печку подтопила, а ты ишшо и вставать не думал. Пей, давай! Смотрю, смотрю, не косись! — Подталкивает его под отёчную колотушку руки, заставляя засыпать таблетки в рот. Проглядит — и в иранку сбросить может.

Глаза у него стали чудные: то вроде без проблеска жизни, безучастные, а то вдруг заиграют какой-то детской хитринкой. В этот момент он потихоньку шкодит: прячет таблетки, считая, что его уже перекормили всякой химией. Разум тоже играет в прятки. То он есть, и дед обсуждает новости из телевизора и радио, вспоминает родню до пятого колена. То вдруг какой-то сквозняк по мозгам, который выдул последние двадцать лет, и он с утра засобирается на работу, с которой распрощался давным-давно, убеждая супругу, что опаздывает.

Дед честно запивает таблетки, ворча:

— Сколько их можно пить! Ничо ж не болит.

— Потому и не болит, что пьёшь! Вставай, умывайся да чайвать будем.

Подав руку, баба Катя подтягивает тучного супруга своего к центру кровати. Тот, зевая и почёсываясь, потихоньку вываливается из объятий своей старинной кровати, как из люльки, и, нахлобучив тапки на отёчные тоже ноги, по-медвежьки переваливаясь, плывёт в другой край избы — к рукомоёйнику.

Баба Катя терпеливо ждёт за уже накрытым столом. Под полотенцем паруют стопкой блины, исходят паром две чашки: большая — дедова, поменьше — бабкина.

— Хошь доктора в телевизоре и ворчат, что вредно, но как вот поись-то, без блинов, без сала, — продолжает спорить с невидимыми профессорами баба Катя. — Врут всё, штоб мы поскорей с голоду помёрли. И пенсию платить не надо. А я не поем, так и заснуть не смогу.

При подходе деда к столу успевает и стул поудобней поставить, и тарелку из-под широкого локтя убрать, и торжественно открыть румяную горку.

— Когда уж успела блинов-то напечь? — совсем по-детски удивляется дед, протягивая руку к самому горяченькому, сверху.

— Дак не все ж лежебоки, койку мнут! — парирует бабка, пододвигая ему ближе вазочку со сметаной.

Утренние посиделки с разговорами затянулись на добрых полчаса, пока дед не начинает ёрзать в поисках опоры для руки.

— Пристал? Но щас помогу, — поднимается со своего табурета бабка и опять подаёт ему руку.

Взявшись за её маленький кулачок, тоже, к слову, отёчный, дед начинает подыматься. С третьей, а то и с пятой попытки ему это удаётся, и он потихоньку пускается в обратный путь.

— Погоди! — опять по-сержантски останавливает бабка. — А гимнастика? Ты вчера ещё сулился, что будешь шевелиться. Разве ж ты не понимаешь, што я тебя не смогу поднять, если ты совсем сляжешь? Давай-давай, занимайся, — на всякий случай добавила голосу и, обогнав деда по пути в комнату, встала наперерез.

— От же ты зу-у-да! — машет головой дед. Прислонившись к косяку двери спиной, марширует на месте. Так, вероятно, ему кажется. На самом деле ноги, обутые в растоптанные чуни, походили на ленивых цирковых медведей, которые не хотели шевелиться и подымались на дыбы только под резкий окрик дрессировщика.

Суровая бабка-сержант, взглянув на старательные попытки «гимнастики», неожиданно покатила со смеху:

— Ты гляди, не схудай! Разошёлся, Аполлон Полведёрский...

Деду только этого и надо. Буркнув «хватит», плывёт в сторону своей коечки, по пути опираясь то на угол кресла, то на угол печи, и, подойдя к кровати, перехватившись за её головку, тяжело занывает в её спасительную глубину, как в гамак.

А баба Катя, присев у окна, пододвинула к себе другой лекарственный коробок, вытащила свои таблетки и выпила утреннюю дозу. Устало посидела, грустно поглядывая на дедову стопочку таблеток. А потом, спохватившись, опять пошла обратно:

— Но чо, недвижимость моя? Улёгся? Дай-ка гляну, носки не тугие? Не пережимают ноги? Не болит ничо? Дай я маленько ноги разотру.

— Да чо их шевелить. Нормальные.

— Да они уж ничо не чувствуют, «нормальные»... — растирает осторожно отёчные лодыжки, пугающе холодные под рукой, встревоженно глядит в лицо деда. — Давай носки тёпленьки оденем. Щас я с печки подам. Совсем у тебя кровь-то не ходит, ишь, замёрзли ноги.

Укутав деда, снова села за стол напротив божницы, позабыв про немытую посуду, и, подняв глаза к иконе в углу над столом, перекрестилась. Помнит, как крестилась в первый раз, размазывая по лицу сажу и кровь. Чего уж тогда она наговорила молчаливой иконе, не помнит. Не до того было. Было ей тогда 28 лет.

Ветер в тот день гудел, как сумасшедший. Морок раскинулся над деревней дырвым смурным плащом, в котором от порывов то тут, то там появлялась новая рванина. Песок несло над деревней, и на зубах песок этот скрипел, и глазам было больно от въедливых соринок. Казалось, никогда не кончится этот ветреный день. После утренней дойки, повязав пониже платок, чтоб защитить глаза от хлестких ударов ветра, торопилась она домой с фермы. Издали увидела вдруг, что у дороги столб с проводами завален, а под ним лежит что-то, зеленеющее на фоне серой земли.

А потом заохлодело вдруг внутри, и ноги чуть не отказали: в этом зелёном узнала она мужев мотоцикл. Не помня себя бежала к столбу, к клубку спутанных проводов, среди которых он корчился, пытаясь выползти. Одежда на шее и на ногах тлела, разгораясь на ветру. Глянул на неё полубезумными от боли глазами, шевельнул рукой, на которой трепыхалась неопрятными лоскутами тлеющая фуфайка с коричневой дымной ватой, пытаясь отогнать её этим жестом от смертоносных проводов.

Не обращая внимания на провода, которые опасно искрили в местах соприкосновения, подскочила к нему и, не касаясь руками, ногами в спасительных резиновых сапогах выталкивала его из смертельного клубка жалящих проводов в кювет. Молча, сжав зубы, размазывая по лицу слёзы, упрямо толкала и толкала ногами

его подалше от смертельной опасности, превратившись в бесчувственную машину, не давая воли сердцу, чтоб не упасть рядом с ним там, обхватив его руками.

И потом только, поодаль, рухнула на колени, сняв свою фуфайку, и гасила его тлеющую одежду, осторожно пыталась стянуть её, а потом увидела, что на помощь бегут люди.

Домой его вели под руки. В порванной полуобгоревшей рубашке он шёл, качаясь как пьяный, из-за шока, вероятно, не чувствующий боли. Огромный ожог был на шее, на руках, на ноге виднелся сквозь дыру в штанине.

Дом, испуганные глаза ребятишек, поиски ножниц, куда-то запропастившихся. Срезанные полусгоревшие лохмотья одежды на полу. И её торопливые молитвы к Богу, как будто оттого, насколько быстро она их прочтёт, зависела скорость «скорой помощи».

Из больницы его выписали только через четыре месяца, в августе. Сожжённая под шейей кожа срослась рубцами, будто к шее кто приложил огромную короткопалую пятерню. Чужая уродливая пятерня по-хозяйски обхватила горло, сдавливая его при каждом неосторожном движении. Второй шрам был на ноге, выше колена — огромный поджаренный блин, больше четверти в диаметре.

Раны только-только затянулись молодой кожей, любая одежда причиняла боль, и ходил он по ограде в широченных трусах и майке, широко расставляя ноги, как моряк во время качки, чтоб не причинять боль одеждой.

Спасительный преднизолон, которым снимали в первые недели боль, и стал теми дрожжами, на которых стройный её Николай и стал «подыматься», сначала до 80, потом до ста, а потом и поболее килограммов. Конечно, на килограммы и глядеть не стала — лишь бы одыбал и ожил. С годами затянулись все раны, даже рубцы стали не такими пугающими. А самым страшным сном много лет был сон о том, как она его вытаскивала из искрящих проводов.

Вспомнилось, как однажды ночью, в декабре, приехал из соседнего села, где временно работал сменным, и постучал в дверь, уже в ночи. Шесть километров шёл с трассы домой, обындевел, как Дед Мороз. Испугалась, ругала, оттирала, отпаивала горячим чаем. Растирала задубевшие ноги. Бог отвёл. Даже не чихнул назавтра... «Затосковал да и поехал», — улыбался он ей оттаявшими губами.

Много чего вспоминается Катерине. Как за всю их жизнь ни разу, считай, не расставались — роддом да ожог не в счёт. Свадьба вспоминается — и смех и грех. Отправили его в соседнее село работать. Затосковали друг по другу, а работа — никуда не денешься. У неё — почти неделя отпуска. Вот и поехала в гости. Пожила там у него четыре дня, собралась домой, а паспорта в сумке нет. С собой ведь брала. А он сидит рядом с сестреницей (квартировал у неё), улыбается тихонько. Потом подаёт из кармана своего пиджака. Берет она паспорт, листает, а там... штамп о браке!

— Это што такое?

— Ничо. Пошёл в сельсовет (в одном помещении с клубом, где он работал). Говорю, моей некогда прибежать, распишите нас. Вот и расписали.

Время — обед. Хозяйка, взглянув на «молодую», споро стала наставлять на стол горячее с плиты: картошку жареную, карасей, щи.

— Саня-я-я! Иди, свадьбу гулять будем! — смеётся, подзывая с ограды своего мужа. Пообедав вчетвером, стали уж планы строить, что дальше делать. Перебралась Катерина в Новониколаевку, три года там и прожили, а потом в свою деревню вернулись с двумя народившимися уже малышами.

— Эта... иди-ка сюда! — позвал из спальни дед.

Баба Катя снова сорвалась с места. Стоя у изголовья, глянула пытливно:

— Чего?

— А щас утро или вечер?

— Утро, конечно! Ты ж блины со мной ел.

— А сама-то таблетки пила? Или токо меня травишь?

— Пила, пила, не переживай.

— Запереживаешь тут! Тебе вперёд меня никак нельзя. Я ж даже с койки без тебя не вылезу, — и глаза деда глядели в этот раз вполне осознанно и серьёзно. — Ты бы телевизор, что ли включила. Картина можа какая идёт, про любовь, — улыбнулся он, переключившись с хмурой мысли.

— Придумал тоже, «любо-о-о-вь»... Разве она есть? Сказки. Дурь одна в этом телевизоре. Давай-ка я лучше тебя побрею, — и, поднявшись с кресла, привычно включила бритву и стала сбривать щетину, сбавляя нажим на месте старого шрама на шее, а потом аккуратненько протёрла лицо влажной салфеткой.

— Вишь, ты ишо и молодой, — улыбнулась она и пригладила неровно ею же стриженный чубчик.

Нечистая сила

В детстве, лет этак в десять-двенадцать, я была полнейшим атеистом и материалистом. Даже после такого ужасика, как «Вий», в темноте влетала в ограду как пуля. И если какая-то нечисть и таилась в тёмных уголках двора, ей бы попросту не поздоровилось. Я неслась в дом с такой скоростью, что, скорее всего, просто бы её затоптала.

Правда, страшновато было идти после фильмов про фашистов и пытки. Расстрелянные и повешенные гестаповцами вдруг вставали перед глазами в самых тёмных уголках двора, и я двигалась дальше, стараясь производить побольше шума, даже просто «лялякая» какое-то музыкальное непотребство.

Однажды вечером я, по своему обыкновению, после окончания сеанса ходко рванула домой. По обыкновению — потому что домой мне было предписано приходить раньше папы-киномеханика.

Фильм был из разряда нестрашных, и беды ничего не предвещало. Беда, собственно, ждала сразу же — лужи после прошедшего во время фильма дождя. Они имели коварное свойство показывать другой оттенок, чем просто дорога. Прыгнешь с одного сухого островка на вроде бы сухой по цвету кусочек — оказывается, в луже. Прыгая вроде шахматного коня, я двигалась по дороге к переулку. И тут вдруг услышала сзади торопливые шаги! Странно было то, что догонявший молчал. Подружки, да и соседские пацаны, окликнули бы: «Ленк!» А тут какой-то зловещий молчок.

Я ускорила шаги. Шаги сзади тоже ускорились. Я прибавила ещё — и там не отставали. Мало того, разрыв между нами стал сокращаться. Меня охватил панический ужас, и я рванула! Мне было уже плевать, лужа впереди или дорога. Шаги не отдалялись, наоборот! Но страшило даже не то, что расстояние становится короче. Пугало это упрямое молчание. В голове мелькнули страшилки про командированных в деревню строителей из южной республики. Мужики были работающими. На строящемся объекте торчали с ранней весны — «грачи прилетели». Я решила, что, вероятно, за мной гонится какой-то не в меру страстный любитель

женского тела. И хоть это было смешно (от женского тела у меня пока были только длинные волосы, ну и так, по мелочам), а в целом ни кожи ни рожи, и весу около сорока килограмм. То есть «женским телом» меня можно было называть с большой оглядкой. С обрывками таких мыслей я влетела с прямой от клуба в спасительный проулок.

К моему ужасу, забег я проиграла. Догоняющий меня мужчина — я уже не сомневалась, что это был мужик, меня настиг и уже дышал в ухо! Сердце колотилось так, что я слышала его в своих собственных ушах. Не оглядываясь, отчаянно махнула рукой назад, чтоб хоть чуть ещё оттолкнуть его от себя. И тут обнаружила самое дикое: он дышал мне в ухо, то есть его голова была рядом с моей. А под рукой, куда я махнула и где должны быть шея и торс, было пусто. И тут я поняла, как сердце проваливается в пятки!

Господи! Мне поплохело до пота между лопатками! Я уже не могла бежать и, остановившись, безнадежно махнула рукой назад. И снова дыхание его было у уха. А... шеи не было. Мало того, этот урод слюнявыми губами дотронулся до мочки уха! Обезумев от ужаса, я развернулась рывком назад и на фоне более светлого неба вдруг увидела изящную голову... жеребёнка. Уфффффффффф!

— Сиротка! Чтоб тебя волки съели! — обессиленно, на дрожащих ногах я прислонилась к заплоту.

У Сиротки потерялась мамка, и новорожденный жеребёнок стал игрушкой для деревни. Её подкармливали все, кому не лень, особенно ребяшня. А жевание ушей было её любимой забавой.

Я обняла Сиротку за шею и заревела — от пережитого страха, от осознания, что всё хорошо, и от того, что я такая непутная трусиха!

Успокоившаяся от бега Сиротка, прижавшись ко мне тёплой атласной шей, виновато дышала в ухо, а потом уже спокойно потопала со мной в улицу. Выйдя из переулка под яркий круг фонаря, мы, совсем уже спокойные, шли с ней по ночной деревенской улочке. В карманах плащика у меня было пусто, Сиротка обшмонала их раза на три. И теперь просто поцокивала рядом, провожая домой, доверчиво подставляя то шею, то голову для моих ладошек. Я гладила её и тихонько ворчала: «Дурочка ты! Бегаешь по ночам, а если кто колом поперёк спины огреет за твои пужанки?» Сиротка нервно, с хлопком, поддёргивает ушами. Видимо, перспектива дрына ей тоже кажется страшной. На фоне неба уши смешно трепещут тёмными треугольниками с длинными лохматушками изнутри. У дома погладила Сиротку ещё раз: «Подожди!» — и нырнула в тепляк. В темноте нашарила в шкафу буханку хлеба, отломил щедрый ломоть и посыпала сахаром, из нащупанной по очертаниям там же на полке сахарницы. Выходя, не удержалась и куснула кисловатый кусочек пшеничного хлеба. То ли со страху, то ли просто к ночи уж есть захотелось, но хлеб показался таким вкусным! Вернулась, отломил и себе кусок, смелее макнула его в сахарницу и выскочила к Сиротке. Та, терпеливо переступая длинными ножками, доверчиво ждала у ворот. Присела на скамейку, подала один кусок ей и захрустела сахаром сама, наворачивая второй ломоть.

Смолотив кусок, посмотрела на Сиротку:

— Погоди! Там же есть... — не договорив, я снова метнулась в тепляк, отломил нам обеим ещё по куску хлеба. И, скорее по запаху, определив, где стоит ведро с малосольными огурцами, занырнула рукой под большую тарелку, которой были придавлены вчерашние огурцы. Вытащив из ведра остро пахнущих черёмушным листом и укропом два огурца и прихватив хлеб, снова метнулась за ворота. Есть после «погони» хотелось невероятно, аж руки тряслись.

Немногословная подружка прядала ушами, ловя звуки моих шагов и не видя ещё, уже потянулась своим плюшевым носом к хлебу. Мы уплетали с Сироткой по второму куску хлеба, захрустывая его огурцом, поглядывая на небо. Больше всего на свете мне не хотелось бросать её тут одну.

— Жалко, ты не разговариваешь, и к нам тебе нельзя... — обняла я её ещё раз за такую тёплую, льнущую к руке ласковую шею. Она была горячая, со дня ещё нагретая солнышком, упругая и доверчивая. Ластилась ко мне, прижимаясь в темноте, понимая, видно, что я сейчас от неё убегу.

В ягодах

Нонешна ягода всю округу с ума свела. Сколь лет её не было такой, сумасбродной. По одной, по две бубочки висит, да и та на землю падает, как ветки коснётся, — от жары. Сварилась вся на корню! А нынче благодать! Вот бабы одна другой и хвастают: в Естихворихе голубица шибко бравая. Другая — не, в Багадашихе — о-о-о-о-й, куды с добром!

Тётка моя маме звонит: «Галька, ты знаешь, какая нонче голубица в Падях, такую сроду даже не видала, не то што брала! Приезжай, пока люди всю не схватили! Поналетят, как век не евши, да стопчут, как бараны!»

Усидеть после этого мама просто не могла. И если б я её не повезла, она бы эти восемьдесят километров просто пробежала, брякая вёдрами. Приехали к тётке. Посидеть за столом, чинно почайвать — никакого терпения нет. Обе аж все обутки под столом сширкали — скорей обеим надо в ягоды. Братан подогнал свой грузовичок, уселись они в кузов шестьдесят шестого и довольные поехали за речку. Ингода мелкая тот год была, перебрались по перекату на ту сторону, ровнехонькой дорогой мимо арок берёз двинулись к ключу. У ключа спешились, братан поехал дальше, на свой покос, а мы, брякая посудой в котомках, споро шагнули через покосную падь, изрытую дикими свиньями, — к горе. Ягодникам моим лет — лет, да и года пошли, — на двоих почти сто сорок годочков! Но бабульки мои про гипертонии мгновенно забыли, через чушачьи рытвины вперёд меня несутся, глазами уже и сопку справа и слева оббежали, хоть до неё ещё с полкилометра ладом. Тётя Нюра потоньше, попрогонистей, а мама за каждый лишний килограммчик сейчас про себя, поди, материт. Пару раз то одна, то другая оступятся в мягкие рытвины, завалятся. С кряхтением встают, пересмеиваются: «Видал, ходоки! Ишо и ягод не видали, уже заваливаемся, как кобылы старые! Каки теперь с нас ягодники...»

А по глазам вижу: зря приbedняются, зря присбирывают — сейчас не удержишь ни одну, ни другую. (В ягоды-то с обеими с малолетства ходила, помню, что никто их по лесу догнать не мог.)

Падушкой между сопok углубились. Красота кругом... Золотистые пуговицы девятильника оторачивают лесные наряды. Оголили коленочки берёзы и осинки, колокольчики по самые эти коленки поднялись, щекочут ласково. Багульник болотный пьянит, голова сразу кругом. Цветы, трава на ключевинке — ковром, зубровка томительно пахнет, в детство запахом покосным манит — на покосе то всегда ею пахло. Ноги во мху пружинят, вперёд нас вскачь несут.

Господи! Такой голубицы и вправду сроду не видели. Она была сплошным синим ковром: справа, слева, впереди, сзади. Сам-то, мой, нас, дурочек, изучил уж вдоль и поперёк, ступил в голубичную поляну, выбрал лесину повыше, расступонился под ней, выдавив в пригоршни мазь от комаров. Намазался деловито,

свернув с тропы, просто прилёг на бочок и начал собирать ягоду. Мы, как баранухи с пригона, — табунком вправо, влево. Остановились, начали брать. А ягоду даже трогать жалко: крупная, в сизом тумане! А уж сладкая — не оторваться, если начал её пробовать.

Тёткины корявые руки мелькают привычно, как на дойке. Приглядываюсь, точно движения доярки: обеими руками споро «выдаивает» ветки вокруг себя, незаметно перемещается правее и правее. Мама — то же самое, только влево подаётся. Струйки ягод текут и текут в набирники. Вот уж первые литры ягоды аккуратно переливаются в вёдра. Оханье по поводу невиданной голубицы утихает, разговор перетекает плавно в бытовое русло: «Сколь нынче скота поукрали, не приведи Господь! Руки бы поотрывал по самую ж...у этим воругам! Прямо чуть ли не в деревне застрелили три головы, стёгны вырубил и бросил, собаки бесовестные!»

Мирный разговор незаметно становится громче и громче — собеседницы отделились друг от друга. Ещё пять-семь минут — и помалкивают.

Обираю кружок под рукой, поднимаю голову — не видать ни одной, ни другой.

— Мам! Мам, мама-а-а-а!

— Каво надо? — издали кричит.

Схватив свои посудины, бегу туда.

— Ой, но тут brave ягоды! Да сладкий кружок! — восторгается мама. Припав на коленку, начинаю обирать рясный куст, второй рукой разминаю успешную уже онеметь поясницу. Не успею толком перевести дыхание, маму уж как ветром понесло в другую сторону.

— Куда? Давай тут соберём! — пытаюсь протестовать.

— Давай, давай... — а саму уже за чепурильником не видать. Куда деваться!

И я следом, так как в этих местах сроду не была и боюсь отстать. Мамино ведро стремительно, несмотря на ужасающие скорости, наполняется. Меньше часа ещё не прошло, ведро полное. Плетёмся к выбранной нами лесине, где отаборились. Развязав котомки, достаём свободные посудины, набранную ягоду в ведре аккуратно платочками сверху обвязываем, выбирая запавшие на ходу веточки, шишечки и багуловые листочки.

— Глянь, Нюрка то уж была! Ведро-то во стоит! Это сколь же она обсвистала?! — удивляется мама наполненной посудине своей сестры.

Глотнув холодного чаю с бутылки, снова углубляемся в ягоды. Сам пытается нас урезонить: «Не бегайте, берите тут!» Но куда там! Удрали.

Возле сломанной поваленной лесины снова присели, натрапив¹ на рясный² кружок. Мама, устав, осела вроде надолго. Я тоже усаживаюсь поосновательней. Кажется, весь мир соткан из тускловатой зелени голубичника и синевы ягод. Туманность с наступлением жары сходит с ягод, прячется у самых корней нежной прохладой. Звонящая тишина только усиливается звоном комарья, облюбовавшего свеженинку (нас то есть)...

Глаза смотрят на мир уже из-под порядком искусанных век, которые не особо хочется раскрывать. Сбоку на нас из-под чепуры налетает тётя Нюра. Семиминутная «сидячая» идиллия разрушена!

— Вы каво тут берёте? Но, паря, вон там-то шибко уж brave ягоды! Каво у вас тут? У меня крупней, — и убедительно бидончик под нос нам суёт. Ягода как

¹Натрапить — угадать.

²Рясный — обильный.

ягода, тех же размеров, во всяком случае, наша ничуть не мельче. Обращаю внимание на её глаза, увеличенные под очками, смеюсь:

— Тётъ Нюр, ты очки-то сыми!

Та, сняв очки, обезоруженно смотрит на содержимое своего бидончика, затем решительно водружает очки на нос и убеждённо говорит:

— Но уж! В очках-то крупней...

Снова убегает на свой «золотоносный» кружок. Мама, не утерпев, едва разогнувшись, с низкого старта уносится в ту же сторону, тихонько ворча при этом, что Нюрку сами черти не удержат!

Поняв, что я однозначно проиграю своим «хворым» старухам, плетусь к табору. Примостившись возле уютного бока мужа, начинаю смиренно собирать ягоду, поглядывая на его довольное лицо. Он тоже в первый раз попал на такой ягодный год. Усевшись неловко, как медведь, обставил себя посудой и потихоньку набирает её, удивляясь прыткости тётчи.

— Как вы не понимаете, что она везде одинаковая? Зачем ноги бить, когда можно не сходить с места, — вразумляет меня.

Согласно киваю. Услышав с лесу: «Ленка-а-а-а, ты каво там берёшь?», срываюсь и улетучиваюсь к маме, подозревая, что она снова нашла голубицу с бычий глаз!

Набрав по два ведра и по пятилитровому бидончику, собрались у табора перекусить. Усевшись на землю, расставив отёчные ноги в калошках, мы устанавливали между коленок зыбкие бутылки с чаем, доставали узелки с яйцами, пирогами, огурцами, луком. Варить чай на костре — время жалко, обошлись домашним, уже прохладным. Промялись, набегавшись по чепурильнику³, и припасы быстренько подсократили. После обеда снова, как ерничной⁴ настёганные, сорвались в бега. Мой даже фразу договорить не успел, а нас уж ветром сдуло. Вполне приличные дома лица от комариных укусов в лесу превратились в какие-то лепешкообразные личины. Веки нависают не под, а над очками, смех и грех, только медведей пугать! Часам к четырём я взмолилась: пойдёте к ключу! Сил нет! Пока доплетёмся, там уж машина наша подъедет.

Обратная дорога оказалась, вопреки всем законам, в сто раз длинней. Запнувшись об каждую кочку, попав в каждую рытвину и зацепившись за любой мало-мальски заметный корешок, тащили свои черепки к ключу, где была намечена встреча с транспортом. Ягод получилось у каждой по два ведра, по два-три бидона, короче говоря, только в зубах ничего не висело.

— Почо вот, почо по столь хватали? — сокрушалась мама, едва переставляя ноги. — Пропаду ить завтра, вся спина отнялась, ноги отнялись от самой спины! Отходила, паря! Сроду больше не пойдём...

Ключ встретил весёлым говорком. Под зелёными подолами берёз, среди почерневших корневищ весело бурлил, с каждым корешком наособицу здоровался и торопился к Ингоде, где каждый камушек его ждал и знал... Расставив у дороги свои котомки, скорей стали опускаться в ключевинку. Обжигающая вода была немислимо вкусна, смывала следы комариных пиршеств и размазанную по лицу и рукам голубику. Я черпала воду пригоршнями и жадно пила, смывала зудящие укусы. Казалось, усталость стекает меж пальцев и уносится торопливыми струйками...

— Но вот, ожили помаленьку, слава те Господи... — перекрестилась тётя Нюра и тут же, забывши о том, как каялись, что ходили в последний раз, добавила: — Завтра можа опять пойдём...

³Чепурильник — непролазный подлесок, чаще всего багул и ерник.

⁴Ерничина — ветка карликовой берёзы.